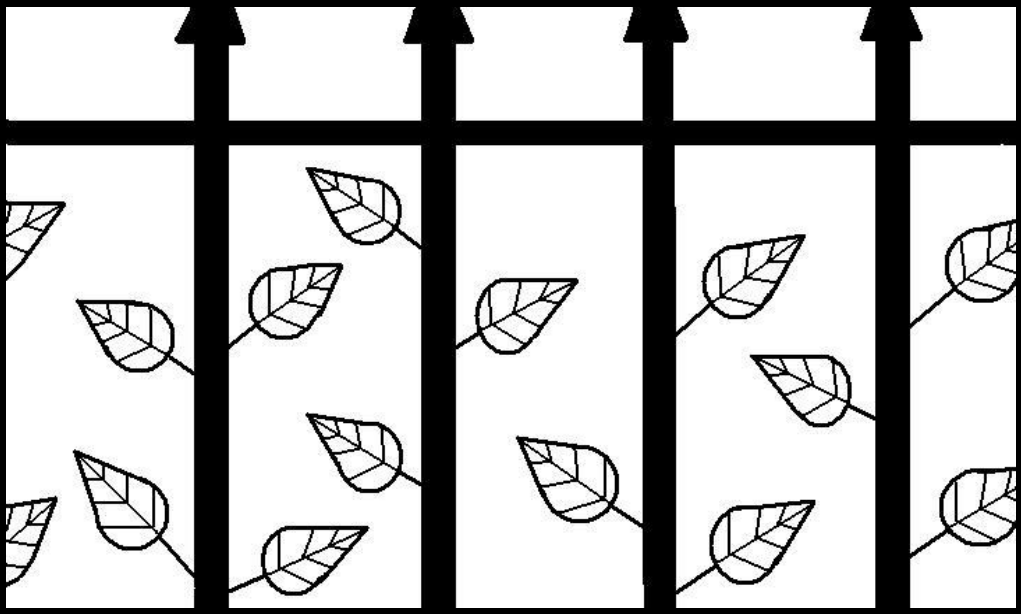
Андрей ДМИТРИЕВ

НА ОБОРОТЕ БЛАНКА



г. Нижний Новгород

2019 год

Когда мы жили в Советском Союзе своей маленькой, простой, однообразной, похожей на миллионы других жизнью, мама работала за стандартные 120 рублей в конторе горгаза. В её обязанности входило оформление гражданам квитанций за пользование бытовым газом. Эти бланки, отпечатанные на серой офсетной бумаге, брошюровались в специальные абонентские книжки.

Почему-то в те докомпьютерные времена редко встречались абсолютно белые бумажные листы, впрочем, если учесть, что каждая печатная машинка ставилась тогда на особый учёт и полагалась в основном секретаршам, одетым в духе советской кинокомедии «Служебный роман», чистую бумагу легко было отнести к атрибутам особых привилегий, позволяющих незримо перемещать тяжёлые стулья за высокими дверями, которые будто для пущей изоляции обивались чёрным кожзаменителем.

Это ж сколько танчиков и самолётиков можно было бы нарисовать на целом, абсолютно пустом с обеих сторон листе! Что ж, мы умели довольствоваться малым. Бланки квитанций, в огромных количествах выписываемых мамой, предоставляли для детского творчества чистую обратную сторону, и корявые, но искренние художества не знали границ, правда, всё-таки в рамках выхваченного пространства.

В 1990-е мама уже не работала в конторе горгаза, однако сереньких абонентских книжек дома было по-прежнему полно, доступная расхожая бумага скопилась за годы и продолжала упрямо клянчить мзду по уже не действующему тарифу, вознаграждая за терпимость к казённой форме отчётности пустым полем на обороте. Вот на тех бланках и начали появляться первые осознанные стихи – своеобразные квитанции, выставляющие счёт самому автору…

СОДЕРЖАНИЕ:

Глава 1. Рожицы и ижицы

Глава 2. Пометки

Глава 3. Тезисы

Глава 4. Записки

Глава 5. Подсчёты

Глава 1. Рожицы и ижицы

* * *

Два дракона
сплелись
в чешуйчатой схватке –
один жаждет плоти,
другой хочет душу.
Говорят, этот бой –
столь плодороден,
что хоть садись –
и пиши,
но воздух
по бронхам ходит –
взятый не на пошив…

Победит первый дракон –
проглотит и душу,
победит второй –
съест и плоть.
Это не пророчество –
это школьная зоология.
Впрочем,
физрук – такое трепло –
изображая злого
следователя
в паре как бы с добрым –
биологичкой –
утверждал:
свобода –
значит, больничный…

На Драконьих горах
есть город золотой –
с прозрачными воротами,
но чёрною трубой.
Эта легенда
не так глубока,
как фото
на память
со дна
огромного следа
трёхпалого…

* * *

Расхватанная
желтизна прессы
опадёт возле урн –
скукожится под ногами,
скомкает своих
раздетых и застигнутых
в обесцвеченные комочки
отшелестевшей
пошлости,
и в парках настанет
глаголо-тарабарское иго
зябких стишков –
вороньих и галочьих –
от осознания,
что эта сезонная смерть –
не для галочки,
а чтобы никто не ушёл
далеко – даже в мыслях
или во сне –
от её белого савана…

Сидя на лавочке
с какой-нибудь
общедоступной сдобой
и разведённой на глаз
огненной акварелью
в бумажном стаканчике,
снова и снова
в режиме стерео
услышишь
часовой механизм
бабушкиных часов,
висевших
на стенке,
обозначенной
обоями с растительным
принтом,
таящим, если не домового,
то, явно, лешего…

Какого лешего?
Какого лешего
вся эта чуткость кромешная,
ведь никто не уйдёт –
ни во снах,
ни в мыслях,
конечно же…

* * *

По осени
можешь быть Осипом
с колосьями
вместо волосьев
или Герасимом
в рубище красном
на позвоночном каркасе.

И всё тебе песня в разлив,
и всё аорта на разрыв.
Тетеревиным клювом
держишь хвоинку речи
над остывшей водой,
из которой тебе навстречу
отражение сути как бы иной
предлагает сторонний взгляд
на проекцию человека,
и, вряд ли,
от вида её не дёрнется веко.

По осени
в тонких вопросах
произрастания смыслов
требуется переродиться
во что-то щемящее –
стать замирающим ящером
или Осипом,
или Герасимом –
хотя бы косвенно
относящимся
к вирусу, хроносу, расе…

* * *

Мазай замазал
заячьим паштетом
все трещины
былой литературы
и вышел в навигацию
под скрип
уключин
с тактом половицы,
фиксирующей
наши расхождения
туда-сюда
по комнате,
что показались лучше
того, что просто длится.

Но мы впотьмах –
в глухом, сухом аду
или остатке.
Сигнальная ракета
класса «Воздух»
взметнулась,
не имея нас в виду,
ведь, явно, и без нас
все ковыряния небес
насмарку.

Что ж, скоро лёд
сомкнёт свои уста,
и даже у Мазая
с его диким,
но земляничным
чувством красоты
не хватит нот,
чтоб положить в кусты

на музыку
священные улики.

И тополя
прервали буйный рост,
нащупав корнем
пуповину смысла.
Греби, Мазай,
до отражённых звёзд,
пока от скуки
заячья капуста
не прокисла…

* * *

Горацио,
этот мозаичный
авангард
раз двадцать
уже представлен
на публике
в том же подвале.
Старый пёс,
задуманный
только о трёх ногах,
должен был вызвать
боль или страх,
а вызвал опять-таки смех,
поэтому сам решай,
провал или успех.

Горацио,
уровень радиации
говорит
о значительном выбросе.
Винный режим
не смягчает вины.
Свинцом
перепаяны платы.
Ну что ты заладил:
в Москву, да в Москву…
Столько микстур
и рыбьего жира
в лютую зиму
не выпишет льготно
чувство столичности,

которое станет
в итоге
ещё одной
вредной привычкой.

С другой стороны,
друг Горацио,
обладай душа грацией
и без внутренней эмиграции
кружила бы нас
лёгким пеплом
из печки,
беременной чёрным хлебом,
как ни казалось бы
всё нелепым…

* * *

Малыш и Карлсон
вышли из сферы
мультипликации
в абстрактную форму
существования
детства.
Ей по-прежнему
обеспечен
кассовый
сбор,
потому что
по тёмному коридору
волочить
игрушку на лямочке –
это как транслировать
Брежнева

в условиях
надувной олимпиады,
приписанной
к тягловой кляче.

Хохочем,
хохочем,
играем с блестящими
фантиками
съеденной
заранее пенсии,
что тренеры коучинга
подают, как попсовые песни
положенные
на треск кастаньеты
в совсем
не испанской прихожей.

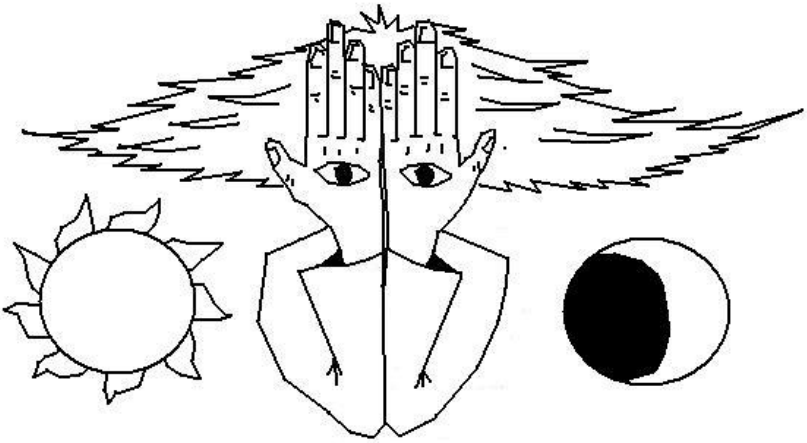
Друг спас друга.
Банка из-под варенья
пуста,
и крошки печенья
ложатся в руку,
будто песчинки
того рождества,
что требует веры
в пречистую
музыку,
сыгранную на крыше
узкому
кругу,
заселившему ниши…

* * *

Чеширская планета улыбалась,
кошачьим глазом уходя в астрал,
пока на слове
не поймали дети,
давно привыкшие уже
к любым эффектным выкрутасам
в эргономичной рамочке
и без,
а потому
спешащие скорее
во всём
нащупать сенсорный экран
босыми пятками
своих разутых пальцев.

Доставка быстрая еды
маячила настырным логотипом
на жёлтой куртке,
пересев
на купленный в кредит
велосипед
и на ходу заняв
полтротуара,
но кто-то голоден,
а, значит,
пусть это будет
миссией, и мы
посмотрим вслед,
как понимающие
люди…

Чеширская планета,
исчезай,
оставив нам
зависшую улыбку,
мы тоже дети –
если мы и верим –
то лишь
в непритязательность
чудес.
Крути, крути педали –
пицца стынет…



* * *

Самому себе присылать открытки
из провинциального космоса
с видами на тёмную сторону Луны –
это удел аргонавта,
давно живущего жизнью
обычного горожанина,
что утром, как все, встаёт на работу
готовым снова нырнуть
в промозглые омуты осени
так – будто движение изнутри
сквозь сонмы чудовищ
ради счастливого обретения –
и, правда, лишь область мифа.

Голые ветви, трафаретные лица,
стёкла, отражающие
только холодную плоскость
выбритой данности…
Однако зубы дракона посеяны –
этим хищным озимым
тут благодатная почва –
отъявленный перегной.
Об этом кричит ворона –
и так уж накаркала
целую пухлую книгу
серых предчувствий –
чего теперь мелочиться
раз и так осыпалось всё под ногами.

Вновь приходит открытка,
будоража скрипучий
почтовый ящик,
но плохо работает почта –
дата отправки – до нашей эры,
а сегодня,
хоть это и неоднозначно,
уже конец сентября.

* * *

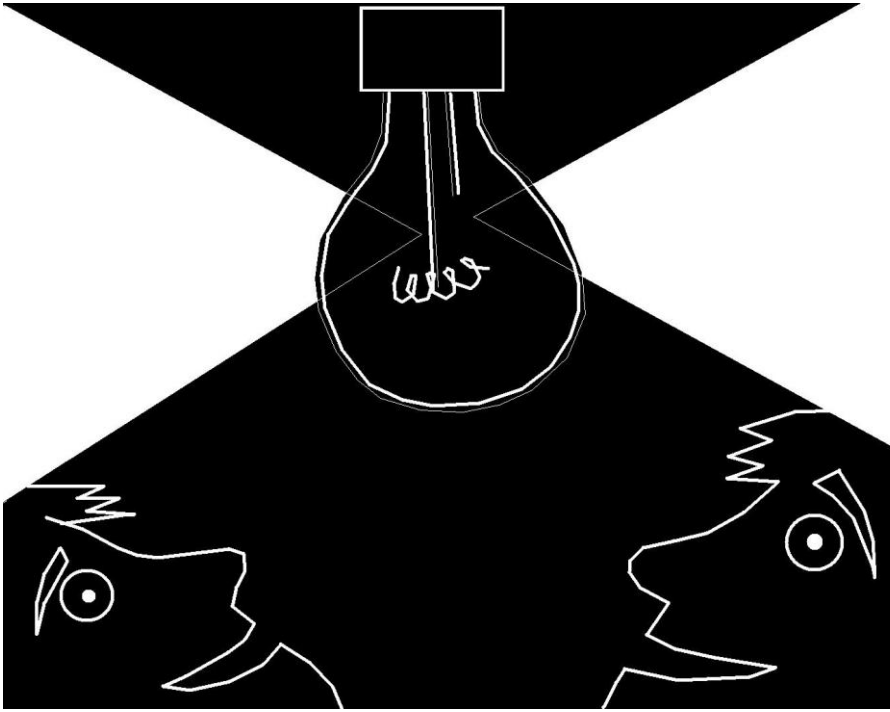
Вёрткой отвёрткой
орудует
усатый электрик,
а света в подъезде
по-прежнему нет.
Чёрный кот –
жизней отсыпанных мот –
олицетворяет
всеобщее невезение,
сливаясь –
на всякий случай –
с тенью угла,
где разбитому зеркалу
даже всеми
своими фрагментами
не уловить,
не отразить
распавшийся
на многоточия лучик,
просочившийся
в щель
на входе
в мир

обесточенных
ныне вещей.

Силовых проводов –
вроде –
тяга
присутствует априори,
толкающая квартал
по кругу
алчных счётчиков,
но здесь она –
почему-то –
ушла в песок
или – точнее –
в камень,
оставив пространство
звукам,
не очень
соизмеримым
с целенаправленным током –
как-то: шорохам,
шелесту,
капели
протекающей крыши –
однако в стеснённых условиях
органов чувств
эти ничтожные обертоны
больше не кажутся лишними.

В ожидании
подступает
под горлышко вечер.
Электрик –
эклектик –
мешает

физику
и нецензурную брань,
тут из-за дверей
выходит
старушка со свечкой,
в тусклом свечении
став рентгеновским снимком
адамова ребра
Усатый электрик
заполнил выдохом паузу
и, наконец, нашёл-таки
нужную фазу…



* * *

Он работал на пилораме,
пускал пальцы по ветру:
мизинец –
теперь мальчик-с-пальчик –
потерянное поколение,
безымянный –
лежит у вокзала,
просит надеть
на него колечко
и сунуть в тёплую варежку,
средний –
ни рыба ни мясо –
ни поманить, ни пригрозить,
указательный –
ткнулся в небо,
но не оставил ни дырки,
ни точки,
а большой –
воплотился в жест цезаря,
но перепутал,
где верх,
где низ
и потому
всё реже дарует жизнь
гладиаторам
алых кровей…

Работа на пилораме –
расщепляла атомы дуба,
разрывала волокна берёзы
ради доски,
что грезила стать гробовой
и в рамках

предоставленной
социальной льготы
сколотить себе состояние
на долгую-долгую смерть,
тесно смыкая ряды,
но на ветер
пущены пальцы
в нарушение строгих
инструкций,
за которые расписаться
приказывал бригадир
в шапке куцей.

Толкает беспалой
культёй калитку,
а за ней –
посредством
дактилоскопии
приводятся
неоспоримым доводом
былые тактильные ощущения,
которые он называет
фантомным холодом.

* * *

Пабло Пикассо
рисует быка,
и быка выдаёт геометрия.
Так же и с окнами,
так же и с видом
на новый микрорайон.
Стоя у кассы
в продуктовом отделе,
замышляешь

поджаренный окорок,
как нечто доступное
в свете со всех сторон
надвигающейся
осенней апатии.
Голос за кадром
называет сумму покупки,
спрашивает: картой
или наличными?
Вторя прижимистой
линии партии,
зреет инфаркт миокарда
в груди мужичка
в конце очереди
лет шестидесяти,
с фигурой,
как у сожжённой спички.

Столько вокруг
сгруженного кубизма,
столько сырой анатомии
с узлами надорванных жил
на столах бытописателей,
что смотрят сквозь толстую линзу,
как вытекает кровь
и подкожный жир
на страницу очередного тома,
чтенье которого
провоцирует многословные споры,
но не о хрупкости жизни
и подпорках дряблой души,
а всего лишь
о содержании меди
в тканях и связках горла –
в любом случае,
не такого уж медного,
чтоб было нельзя придушить.

* * *

Подопытному
бабуину Борису
вживляли
длинные электроды
под густой
подшёрсток,
чтобы разрядом тока
заставить
сердце примата
раздвинуть обод
тугой диафрагмы
и прыгнуть выше
головы пустой
обезьяньей,
вот только
всё электричество
стекло по громоотводу
с крыши,
а пульсирующий
мешочек
из мускулов
вернулся назад –
за решётку рёбер
потрепанным
и усталым вусмерть…

И чего докопались
до животины
со своим познанием
через боль
и страдание
некого места
то в цепях пищевых,
то в системах звёздных,
боль не добавит

студенту баллов
на экзамене
по пересадке костного
мозга
в голову пешки,
вырезанной из кости.

Чего-ничего доброго,
сами с усами
себя долбаните:
сердце прыгнет –
и, может быть,
солнце застигнет в зените,
а под солнцем –
все бабуины серы,
если смотреть
сверху вниз,
поди догадайся,
который из них Борис…

ГЛАВА 2. ПОМЕТКИ

* * *

Пауки в банке
озабочены поведением мух.
Ветер несёт тенёта
беспомощным сгустком
над небритой щекой газона
(вновь седеет его борода).
С тем острей понимаешь,
как всё непрочно,
как пусто,
и уже нет резона
при виде последней осы
по-детски шептать: соль-вода.

Нехитрые мантры,
бескрылые тени,
впустившие морок дворы.
Старые «Жигули»
поставят в гараж,
чтоб протянули ещё одну зиму.
Какие уж звёзды
в эпицентре чёрной дыры,
и всё-таки
свет их невыносимый…

Тягучие дни,
кальвадос
или анабиоз.
Искривление воздуха
не бережёт суставы
и позвонки.

Привыкай, это надолго,
это всерьёз.
Поменяешь точку опоры,
если устанешь.

* * *

Поздние клещи –
сущие звери –
выползают из-под снега,
вцепляются и кусают
сквозь зяблую кожу,
сосут остывшую кровь.

Энцефалитный декабрь
надламывает круассан
и садится кормильцу на шею –
членистоногий всадник
с несчастной
подковой во лбу…

Венозный январь –
потрясает шейкером,
наполненным
свинцовыми литерами,
выпавшими из слова «люблю»
при наборе очередного
номера пожелтевшей газеты.

Кусачий февраль –
холод и голод
измученной Герды,
нервно просящей бармена
побольше льда
в ту же ёмкость…

Впрочем, клещей бояться –
в зимний лес
не ходить.
Похрустим-похрустим,
окропим снежок
красненьким.
Уж раз это
дело такое мокрое –
свои пять литров
потратим на дело,
пока ещё
не пусты…

* * *

Начиналось,
как привычная лит-ра,
со школы
ставшая
прилипчивым ритмом
организованной речи –
что-то там
«окно горит
сквозь загустевший сумрак…
трата-тата,
лала-лала
«и отражение Луны
скользит по скулам,
когда стоишь…».
Ах, как там дальше,
но не важно,
в том же духе.
И тут разгрызли мыши
пуповину,

и что-то закричало
на руках
у повитухи
сгорбленного слуха,
казавшегося
в свете той Луны
ещё мгновение назад
какой-то
бдительной старухой.

Посыпалось,
растёрлось, сорвалось.
Отвинченного болтика
шрапнель
ударила о стенку
с рикошетом.
Рвануло дверь,
а там – за ней – асфальт
сырой змеиной кожей
обтянул дорогу
с уже отрубленным
хвостом
на том
конце,
где подорожник
сколько ни слюнявь –
не холодит
былые раны.

А впрочем –
всё пустое
на столе,
и впереди –
одна лишь
мойка…

* * *

Следить за руками пианиста –
что ловить бабочек
на диком лугу –
не ради добычи,
а так – повинуясь цветочным инстинктам
или просто нити сюжета,
лишённой иглы.
Ты заманила меня
на концерт,
и на нём вдруг пришло осознание,
что уже окончательно
схлынуло лето –
теперь и во всех смыслах.

Всплеском перелистнулось
то, что упрямо мокло,
но стремилось читаться
по обрезанным стеблям,
по-прежнему
чистосердечно, хоть и наивно
формируя бутон.
А сейчас отчётливо слышу:
тонкое надорвалось
и посыпалось,
и растворилось…
В советском детстве
мне вручали бидон
и отправляли за молоком
с горстью монет,
вероятно, так и иду след в след.

Монеты лежали
на дне бидона
и звенели при каждом шаге,
тренируя мой слух,
но однажды
по пути обратно споткнулся,
и молоко пролилось,
словно свет
из окна общаги.

Скоро выйдут на бис,
однако с видом: не ругайте –
заигрались и увлеклись…
И мы вернёмся под дождь,
в исхоженную темноту
теперь уже тренируя память.

* * *

Самое время поймать волну,
но не за космы, не за хвост,
не за бороду, не за ворот или рукав,
а за край лёгкой туники,
за тонкий шёлк её тени,
брошенный без претензий на шторм
в жажде размыть контуры материка
и с тем,
скрывая вину,
уничтожить улики
исчезновения
из-за высоких штор
ореола хранимой тайны,
святой недосказанности,
требующей усердия
в поисках нити…
Время ловить волну, неустанно
несущую струи разума
и души к обетованному берегу,
где мальчик играет с сеттером
и верит, что океан –
это то, откуда –
пускай даже в образном смысле –
жизни и выйти…

Самое время, да, самое время –
столько всего застоялого
в собственной спеси и лени,
в ненависти,
пробудившейся в чреве
иссохшей без соков мумии,
время – вернуть одеяло
забвению-сну

и, в жёстких надломах жести
расслышав-таки гром небесный,
поймать – словно голос – волну,
зовущую в сумме,
казалось бы, неочевидных версий
зорко и трепетно
путешествовать.

Пусть вдалеке, в стороне,
в уголке, неузнаваемо
по этикетке, принту на майке
и на лицо.
Океан – это не варево
во вмещающем порции баке
с вопросом широкого потребления:
что раньше сварится,
курица или яйцо?
Волна не носит
цепей корабельных.

* * *

Кордебалет
с арбалетом
выглядит
охотой на многоточия
с изгибом линий
в параболе формы,
со звоном тугой тетивы
над отточенным ухом.
Стрела – будто прочерк
в графе анкеты
на получение
лицензии на оружие.

Присыпьте иголками кедра
всю эту тягу выуживать
из ранки
бесчеловечный
стальной наконечник…

А за задворками
серебристой промзоны
девочка с пуделем
на поводке
игнорирует
ожесточение сводок
и просто идёт
по тропинке парка,
застенчиво путая
шелест
с его размочившей сыростью
из-за привычки плакать
с абсолютно
сухими глазами.
У собаки в зубах
принесённая ею ветка –
символ того,
чего мы не способны вернуть
себе сами.

Дети Вильгельма Телля
учатся
словам на кириллице,
их вырезая
складным швейцарским ножом
на коре старого дерева.
Подержи на голове яблоко,
пока звон тетивы
не выпрямился.
Вот так, хорошо.
Хорошо.

* * *

Из Бахчисарайского фонтана
в час Овна не пей, не пей –
архаром
или архаровцем станешь,
будешь на шерсть
собирать репей.
Пить надо херес,
когда внутренняя Сахара
подползает
под пепельный шелест,
демонстрируя жгучий вес
памяти
о позапрошлом, нет –
поза-поза-поза-поза-позапрошлом
июле, где воздух
ещё не был вдет
в иголку раздора,
и всё, что
казалось вне времени
и границ
включало лишь горы и море…

Плакали тусклые денежки,
скулил сквозняк
в прорехах дверей,
выл атмосферный фронт
без всякой надежды
на выход из окружения,
где говорящих зверей
становилось больше,
чем мог вместить кашалот,
уходящий на дно,
а мы всё об одном –
о травах на камне,

что, к счастью,
пока не брошен в окно.

Над античной руиной
мерцание воздуха
вызывает фантомы,
рассуждающие о Плинии,
вспоминающие Антиоха
и Митридата,
они продолжают линии,
невзирая на маркировку
и дату…

* * *

Окон зажжённый мазут
вытекает в зябкую мглу
из разорванной бочки
квартала
ленивой струёй,
растянутой на часы.
Все другие эффекты –
побочны,
только как же
шлифуется камень
на круге этом шершавом,
даже блики
растёкшихся стёкол
под натруженными руками
камнетёса
становятся
монолитны,
продолжая мысль
об остывании плоскости,
пока снова на ней
не высечет кто-то скрижали.

Мимо здешнего
замирания,
вдоль желточного русла
коммунального пламени,
ускользающего во тьме
сквозь пальцы,
сквозь ветви,
сквозь провода.
И пока ты не обернулся,
когда, как показалось тебе,
окликнули издалека,
знай: уснёт оно
не напрасно,
завтра утром
с изнанки проснёшься,
а это всё так же,
всё те же –
насущные хлеб и вода…

* * *

Честное неандертальское:
камень точит камень,
и вода под него течёт,
хоть и лежит он
там, где ещё ни конь
не валялся,
ни мамонт,
ни лось, ни кабан
поверженными.
Даже сейчас,
когда ждёшь
пока подадут суп харчо,
глядя в окно,
хранящее звон каблука
и блеск
проносящегося металла
по обеим полосам
части проезжей,
эти простые истины
рука проверяет на вес,
а потом берёт телефон
и набирает кого-то из списка
в образовавшейся бреши.

Честное неандертальское:
бог – это огонь
изнутри и снаружи,
это сама природа огня.
Гори-гори ясно.
Свет первороден,
а, значит, гол –
особенно в эту стужу,
в которую Марс
в своём секторе неба
как никогда красный…

Вот подали и чай.
Аскетичный пикник
на обочине
шума квартала.
Каменный век
скатился в архив
с плеча.
Честное неандертальское:
из него получилось
неплохое кресало.

* * *

Хотел быть везде –
в Аргентине,
в Исландии,
в Непале,
в Австралии,
но электричка –
столь ограничена
в рамках заданного
маршрута,
и металлический голос
извещает
заспанного пассажира,
что – шутка ли –
он прибывает
к станции Рекшино,
и следующая –
Киселиха.
Лихо…

Садоводы –
укромные жители
собственных дач –
спичечных коробков,

где жуку или мужу –
хитиновый плащ
вешать на ржавый гвоздь
возле двери,
пока жена
не скажет:
набери
огурцов
для салата,
Саша…

Громыхание
плюс громыхание –
равно ощущение
цикличности времени.
За окном –
пилорама
осени
циркулярной пилой
вращает
последние
возгласы
красок
над головой
садового пугала
с потускневшим лицом –
мутным
словно
дешёвенькое
винцо…

Хотел быть везде.
А разве ты не везде?
В шорохе,
в скрежете,

в полутени,
в полунамёке…
И вот –
станция Шпалозавод –
по местным меркам
уже далёко…

* * *

Вышли из микроволновки
уже без упаковки.
Быстро и ловко.
Вроде бы
со вкусом морковки,
лука и
каких-то там специй,
если считать
молодость –
торопливым
процессом готовки,
что шеф-повар, естественно,
сочтёт за кощунство –
какое ж, мол, это искусство
выбрать режим
и время,
чтобы всего лишь
пальцем большим
захлопнуть дверцу,
заставив нечто холодное
вертеться и
греться…

Но некогда было
возиться с рецептами,
а потом –
уж слишком кусачие цены
на качественные продукты,

тем более – деликатесные.
Кулинария – наука
для богатых не только душой,
но и делом,
с кучей свободной жизни.
Так, что выставили режим,
в СВ-печь положив
купленный в продуктовом отделе
кусок общедоступной пищи.
Просто, как выдавить прыщик.

Никакой культуры
в остром и тонком соусе
философии
и эстетики,
никакого духа,
парившего над водой,
в которую сыпали позже
свой растворимый кофе
из шелестящих пакетиков
охранники на проходной,
никаких растительных соков,
несущих по стеблю
от солнца благую весть,
хотя заверяют:
в целом приемлемо,
если по-зверски –
как ничего более –
банально
хочется есть…

ГЛАВА 3. ТЕЗИСЫ

* * *

Чем-то железным
перемешивают,
перемешивают,
и субстанция
становится бурой
и вязкой…
– Ты это про небо?
– Нет, про
столовский кисель.
Кажется, стала черней
арматура,
торчащая веером
из глыбы бетона –
стылой грибницы
строительных касок…

– Вот кстати,
ещё не про небо:
не пришло SMS
о доставленном SMS.
– Проверил баланс?
Город, как мох,
с севера влез
на древесину
предместий,
есть, значит, шанс
по нему
вычислить азимут
и выйти
к финалу пьесы
к заученной фразе:
мы – вместе.

Чем-то железным
мешали,
мешали
и вылили нам
на головы,
что-то закоротило
и треснуло
нервом
двужильным,
взятым сырой и голой
рукой.
А вот это уже про небо –
редко выходит
одной строкой…

* * *

В земле – земля.
Это мы – вне себя
от радости или от горя,
а она – всегда дома –
ждёт
шагов из коридора,
отсчитывая песчинки
и катышки.
В октябре,
простудно покашливая,
вдыхаешь её
в себя
и чувствуешь,
что земля
обживается
увядшей ботвой
наружу…

А потом – её выдыхаешь,
и, вроде, вот оно – ощущение
отрыва птичьего
от земли.
Лишь маленький камешек,
застрявший
в распаханных лёгких –
подобно головке спичечной
чиркнет неряшливо
по шершавому дну
на самом
уже отвлечённом вздохе…

У всего, да, у всего
есть привкус земли,
привкус чёрного дома
И порою даже
глоток шабли
не способен размыть
этот суглинок –
толику горклого кома
на языке,
где свою пряжу
и вяжет,
узнанный прежде
в зерне…

* * *

Чего бы ни написал –
пуст этот вокзал –
ветка сломана,
движение –
вверх по карте,
зато здесь
бесплатный вай-фай,
а ещё
можно бросить
семечек голубям
на перроне –
почувствовать
обратную связь,
сорвать со столба
объявление
о продаже участка
с намёком на дачу,
мысленно выкурить пачку,

как будто не бросил
лет восемь
назад.

Какой чувствительный
резонатор
пустой вокзал –
на всё отзывается эхом,
вот только хруст
расколотого ореха
представляется почему-то
трепанацией черепа
астронавта
с «Челленджера»,
спасшегося
каким-то чудом,
но тсс…
Корни пускают
в воду пущенные концы,
как боцман сказал бы.
Впрочем, вокзал –
не морской,
а экзистенциальный.

Смотри,
до чего ж вдалеке
вывеска
медитативно мерцает…

* * *

Вся эта витиеватая
акупунктура –
ложится,
как пуля-дура
с поправкой на ветер,
и всё-таки
хочется чувствовать
биотоки,
а не только
перестуки
киянки трудовика
в тщетных попытках
объяснить школяру,
что не туда
втиснута ножка
и без того
косой табуретки
с плачевным, увы,
постоянством,
хоть и привязан
радиус головы
ко вбитому колышку
с кусочком
материи красной.

Всё-таки хочется
не только
переливать
из пластикового
стаканчика
в точно
такой же
стаканчик

вешнюю
воду,
моделируя качку,
но ещё
и слышать,
как невесомость
втекает
в контуры вещи,
когда
прокрученный
космос
на орбиты
вертает камни…

Ждёшь, что
навстречу
сквозь двери
маршрутки
на многолюдной
автобусной
остановке
выйдет простое,
но необъяснимое чудо –
отзвуком,
отблеском,
интуитивным
чувством,
доверенным
внутреннему сгоранию
голосом…

* * *

Горловое пение.
Это горловое пение.
Не плановый ГОЭЛРО,
не бдительный гороно,
не испанская guerrilla,
не домкомовская говорильня …
Только вибрация воздуха
на натянутых связках,
ставшего средством письма
в сопредельные области
слуха, зрения,
мысли и чувства…
Резонирует
пустая ваза,
в которой увяли растения,
с последним отдав лепестком
тусклый отблеск кольчуги,
вроде как, столик
свободен –
более
не зарезервирован…

Тянется, льётся
пение,
расщеплённое
на волокна,
скреплявшие
яшмовый,
окаменевший
стебель.

Отражённое –
доставляет волоком
к большой воде
скорее не судно,
но всплеск,
переходящий
в прибрежный
вереск…

Горлом идёт,
горлом…
Гравитация
отменяется,
впрочем, лирика,
отнюдь –
не антагонист физики –
для той и другой
пространство –
выход из-за кулисы…

* * *

Не корми пеплом голубя –
он не феникс,
он всего лишь тусклый мазок
на холсте,
выставленном под ливень
в старом дворе,
где деревья
не боятся остаться голыми
и сиротливыми,
хотя и не знают,
надолго ли
(а вдруг навсегда).
Но пеплом
и их не корми,
они милостыни
не просят,
а только стоят
в холодной крови
по самые корни,
они – беспристрастные буквы,
которыми
написано слово «после»…

Не на что обижаться.
Гвозди ржавеют
в трухлявом заборе
на ещё деревянной окраине,
но держат
ношу свою,
что крест-накрест.

Разве с ними
кто-нибудь спорит
сейчас по вопросу
правомерности
сбора валежника
в соседнем парке,
который – к тому же –
попросту
никому не нужен.

Мальчик лет двенадцати,
выносящий мусор
в белом пакете,
какие обычно на кассах
сетевых магазинов,
спугнул у подъезда
серого голубя,
и смотрит теперь,
задравши голову,
как тот улетает в зиму…

* * *

Ставим опыты:
из вогнутых
линз – выдуваем окна,
а из выгнутых –
прозрачную голову
хрустального лебедя
на бабушкином комоде.
Одеваемся по погоде,
и этот конкретный опыт
сегодня печален,
ведь, приходится выживать,
а не наряжаться –
циклоны не цацкаются.
Но что мы такого узнали,
чтобы печали
красить в цвет ржавчины,
будто они
уже были металлом…

Ходунки мокрых улиц,
ходули чёрных столбов…
Мы имели в виду
физику или химию,
когда мыслили
лабораторно?
Кусая кончик карандаша,
пишет мумия про любовь,
из которой вышли сухими
все завяленные фараоны.

Струйки воды на стекле –
это опыт
движения вниз.
Наше долготерпение
обретёт голубиные крылья
под наплывшею крышей,
пока дождь завершает эскиз
вылитого демиурга,
что концовки,
увы, не расслышал…

* * *

Батый наливается бронзой
по самые брови,
озирая бескрайнюю степь.
В волосах его – запахи серы,
как говорят богомольцы
по ту сторону
этой степи –
серые птицы севера
на надломленной ветке
в руках пока ещё домонгольского
ветра…

Степь да степь.
Step-by-step.
Эпический хронометраж
вмещает
биение сердца
звонаря из Рязани,
забравшегося
на двадцать пятый этаж
с немалым
процентом по ипотеке,
зато в центре.

Скоро, скоро придут
и взыщут,
посыплет тогда
голову пеплом,
став приготовленной на огне
жертвенной пищей.

У ворона в клюве
ржаной колосок –
ох,
жатва так жатва.
До райцентра пылит
видавший виды автобус,
открыты окна,
но в салоне –
по-прежнему жарко,
у женщины, втиснутой в духоту,
ко лбу липнет волос.

Но вместе с Батыем
наступят зима и холод,
подорожает хлеб,
покосится маковка церкви –
который уж раз.
Да разве имя чуме той –
татаро-монголы?
То, что сидит
так глубоко и цепко –
растёт не снаружи.
Батый наливается бронзой
и ставится на широкую полку –
идолищем поганым,
божьим бичом,
ненавистным, но наречённым
мужем…

* * *

Кружение над бордюрами,
над тротуарами,
завихрения воздуха
и всего, что попало в него
посредством свободы падения
или наивных мер
по борьбе с гравитацией,
предпринятых
в робкой надежде
на шанс
наконец надышаться
во всю широту
стеснённой одеждой
клетки грудной
в момент, когда крылья
возвращены размахом.

От этого мельтешения
и хаоса мелких мазков,
столь свойственных
импрессионизму,
создаётся лёгкая тяга
в фокусе глаза,
уставшего от разлинованных
прямоугольных страниц,
опустошённых
отсутствием слов
и переизбытком влаги.
Брошенное охапками
зябко стремится вниз
и всё-таки успевает
расшевелить
увядшие фотоснимки.

Опавшие перья,
как и опавшие листья,
обращены вовнутрь
более чем вовне,
где в отсутствие перспектив
всё меньше и меньше смысла
в открытых границах
с налаженной службой таможни
и пограничным контролем,
научившимся улыбаться
вполне себе правдоподобно.
Внутри же главная область – память,
что и есть последнее мельтешение
посреди огромного парка
перед тем, как ему застыть
на краю неизбежности…

ГЛАВА 4. ЗАПИСКИ

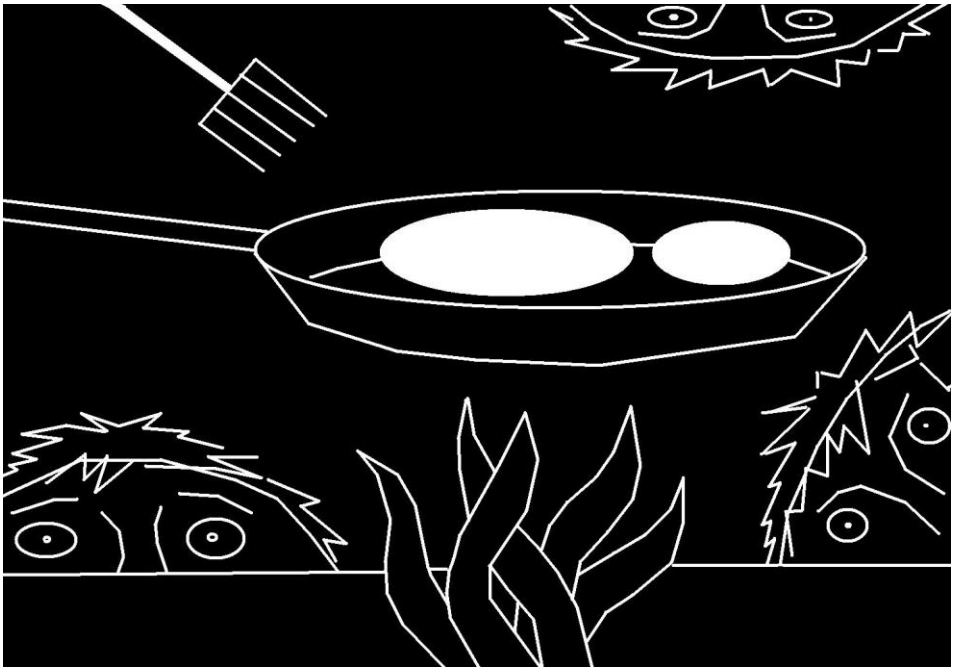
* * *

Всё время куда-то
то шли, то ехали.
А куда?
Обёрточным эхом
облетело
в забывчивый шорох
зрительной суеты.
Не заглядывая в блокнот,
уже и не вспомнишь
даже последнего адреса,
потому что ещё со школы
всё знакомое
закрывается на ремонт,
ожидая конца которого
остаёшься один из класса…

Загнутые уголки страничек –
зазубрины
судорожного возвращения
к себе или к тем,
кто вне себя –
вернее тебя –
как к подгорелой яичнице,
оставленной на плите,
пока не заплыл в помещение
комнаты
с кухни
запах то ли
крематория,
то военного полигона,
где уже не до людной пехоты,

лелея оружие
судного дня,
хотя к чему теперь молотый перец,
когда обуглились
яйца и порезанные помидоры.

Неровности почерка
скрыл бы компьютер,
но, застигнутый чувством
каллиграфического бессилия,
вымещаешь весь алфавит
на том, что – пока не сомнётся –
будет подобным
обтянувшему лоб мускулу
в мыслях: а куда же
всё время шли-то мы?



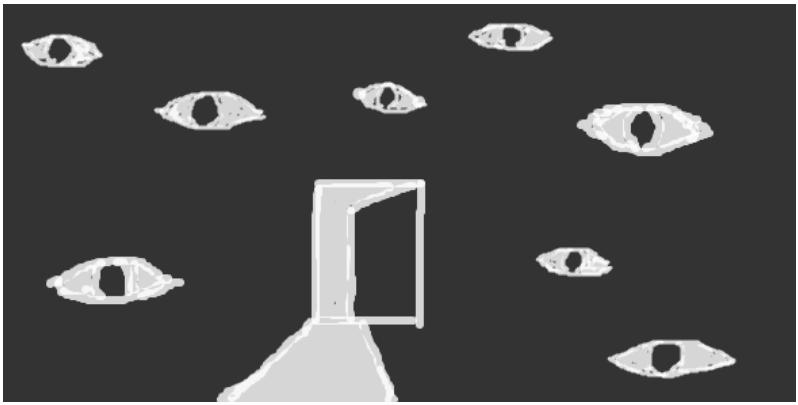
* * *

Артисты
сверяются с графиком
гастролей,
смотрят прогноз
погоды
там,
где им предстоит
жить не только
сценической
жизнью.
Вертят в уме
имя очередного
города,
пытаясь вспомнить,
а случайно
не родились ли
в нём
когда-то уже.

Занимательная
аэрофобия –
радость полёта
после посадки.
Артисты
заглаживают
нетеатральный опыт
в гримёрках
перед встречей
с клокочущей
темнотой
очередного города,
где горек –
должно быть –

чай у старой
вахтёрши,
помнящей
передёрнутое
в постановках
прошлое.

Ориентируясь
по афишам,
идёт лунный свет
через центр
к чернеющей вдалеке
промзоне,
пока платок
с покорность реквизита
у Казановы
не выпал
из кармана камзола,
что должно
по задумке автора –
столичного режиссёра –
означать
конец
предпоследнего акта…



* * *

Расщепление атомов
на кончиках пальцев
говорит о стремлении
доцарапаться,
докопаться
до укромного ядрышка,
да руки, видать, коротки.
Только страницы
конторской книги,
заполненные однотипным
набором строений,
увенчанных башней
или просто флагштоком,
посему отвлечь
неспособны окна
по обе мутные стороны.
Разве что вороны,
разве что вороны…

Эх, заболтался тут,
а французы
всё же сдали редут,
впредь не оспаривая у Толстого
истории сотворения
не только мира,
но теперь и войны.
Ох, уж эти осенние сны:
проснёшься,
а ладони в порезах –
будто вода превратилась в лёд,
потом в стекло
и ушла сквозь пальцы
в кварцевый свой песок…

* * *

А из-за печки –
сверчок
стрекочет
подобием речи.
Энтомо-FM.
Не переключайтесь
на другую волну.
Впрочем,
другой в данном диапазоне,
кажется, нет.
Не уснуть
от мысли,
что всё это наяву:
изба, из которой
не вынести сора,
окно, за которым
полынью
разбавлен свет…

Даже вибрация
сотового телефона,
принимающего
входящий звонок,
кажется еле
уловимой
судорогой
в теле
влезшего через форточку
воздуха,
что сильно продрог,
соприкоснувшись
с полночью.

Речь – быстротечна,
за ней половицы
скрип – заикание.
Сок позднего сорта
в яблоке вызвал окись.
Чтобы зациклить
движения тихого сердца,
не стоит день
доживать сурками,
о ритуале лишь беспокоясь.

Речь – сверчкообразна,
а зло – архаично,
не потому ли
так любят Вагнера
все киношные –
и не только –
маньяки.
Впрочем, маэстро
уплыл навагой
ещё до первых порезов
к мерцающим льдинам.
Остался только сверчок
в глуши избяной,
запечной
стрекочущим,
непобедимым…

* * *

Когда на улице
отключали тепло,
он греться ходил
в отдел игрушек
соседнего магазина.
Плюшевые медведи
смотрели так,
будто где-то встречались,
а первыми заговорить,
вероятно, стеснялись,
вдруг подвела их
память на лица,
втиснутая туго
и зашитая скоро,
вышло бы неуклюже,
то есть
уж как-то совсем
по-медвежьи.

В кармане носил он
блокнотик,
записывал туда
что попало,
чтобы словарный запас,
перераспределяемый
неравномерно
и слишком небрежно
между людьми,
оседал на маленьком
ситечке,
кстати, странички
как раз были
в клеточку.

Но перечёл недавно:
одни междометия,
налипшие густо –
словно распаренная
заварка
в ауре кипятка,
так и не смог объясниться,
только пробовал
на язык
чаинки –
ещё не понятий,
а только отточий,
означающих не предметы,
но всю вселенную сразу –
пока, наконец-то,
плюшевые медведи
не вспомнили, что однозначно
слышали ранее
эти завязи фраз
по формам разлиться
не успевшего разума –
и, как бы приветствуя,
вшитым клаксоном
отозвались…

* * *

Прислоняешься к ограде,
прислоняешься к ограде,
прислоняешься –
ощущаешь клавиши
пальцами стылой спины –
позвонками-фалангами,
и музыка звучит –
как ключи
в железной связке,
брошенной
в бездонный карман.
А за оградой –
в прелой гримасе
уже скорчился сад.
Прислоняешься к ограде,
прислоняешься к ограде,
не оборачиваясь назад.

Ограда – вдоль-поперёк,
ограда – крест-накрест,
исподволь-вдоволь,
близко-коротко.
Зарешеченное терпение,
кованный анапест,
опоясавшая крепь.
Прислоняешься к ограде –
сам превращаешься в ограду,
которая
в заставленном геранью окне
из душной комнаты
кажется предугаданным
берегом –

как думалось –
океана, ан нет –
всё же реки –
неизбежно стремящейся к устью.
Но то – из ограниченного окна.
Впрочем, выйдешь, бывало,
прислонишься к ограде –
а по твою сторону
почему-то
так беспрепятственно пусто…

* * *

Из Камбоджи –
в Камбоджу
по сожжённой
напалмом коже
ведёшь контур джунглей,
в которых
от мыслей
порою так шумно,
что ищешь помягче
и поплотнее
мхов,
чтоб, сделав из них беруши,
заткнуть
или дырки во лбу
или уши…

Но уши всё равно слышат,
даже свыше
того, что чирикает
с ветки
сквозь прореху
в крыше
из пальмовых листьев.
Тик по нерву

нащупал веко,
а под ним – зрачок,
судьбу окулиста,
чей диагноз с латыни неверно
переводят, как
«аффтар пеши исчо».

Шум поволжских
тропических ливней –
размывает чернила
и вспышками со штатива
ослепляет
попавшую в кадр Камбоджу,
где как ритмы цимбал
тебя б не лечили –
шлёт настырная память
считать осенних цыплят,
что сквозь дырку в заборе
ушли по задворкам,
и за ними пытаться
сформулировать вновь,
из какого же сора
вырастают
набравшие текст
двенадцатым кеглем пальцы –
значит, загодя
строить куриный насест
в тени покосившейся пагоды.

Доверяя напалму
экзистенциальный обжиг,
спишь под крышей
из листьев пальмы –
будто это не заговор
собственных инсинуаций,
а какая-то
закавыченная Камбоджа.

* * *

У кондукторши тёти Зины
в одном окне – фасад,
сползающий в полутьму,
а в другом – буковки
на фоне синем,
исчезающие,
как «зачёркнутому верить».
Это угол
какой-то там улицы,
задеревенелым домам
тут давно не место,
вот и громоздится теперь
бетонный ящик
с закупоренными венами
недостроенного подъезда.

Перемещаясь от точки
до точки
по маршруту
прямоходящей устрицы,
задеваешь тот угол,
той самой улицы,
на которой, кстати –
первому встречному,
хоть и купил билет,
она не расскажет –
жила тётя Зина,
там ещё сзади
был магазинчик
со всякой мелочью.
Впрочем,
это лишь слабая сыворотка

от синдрома шурупа,
что в тесноту
автобуса ввинчен…

И кондукторшу
зовут не Зина,
а Клава –
так к ней обратился
водитель,
и магазинчика
никакого я тут не помню,
я вообще в этой
части города
третий раз в жизни,
но что-то же
раньше
было тут по любому
до момента
потери реальности
скрюченным пассажиром.

* * *

Группа «Аукцыон»
рассыпалась на бубенцы,
а мы стояли заворожено
на краю разверзнутой
бездонной пучины.
Софиты наотмашь
светили в лицо.
Рядом фотограф
выбирал кадр получше,
а было их завались,
пока в блёстках пиджак
повторял пантомиму
Олега Гаркуши.

Чебурашка в VIP-зоне
фокусировал уши
и пил апельсиновый
крепкий коктейль,
пока в блёстках пиджак
вовлекал Олега Гаркушу
в живую метель.

Ты припев этой песни
повторяла себе под нос,
когда по залу плыл
выдох всеобщий
светочувствительный.
Лет сто назад
где-то неподалёку,
вероятно, пыхтел паровоз,
со скрежетом привнося
революционной столичности,
но, слава богу,
сегодня всех нас
не он в эти кущи привёз,

а октябрьская весна
с игрою оттенков
даже в тотальном
красно-коричневом.

(на концерте группы «Аукцыон»
в Нижнем Новгороде)

25.10.2019 г.

* * *

Психиатр Иван
Ардалионович Готлиб
весьма словоохотлив
с пациентами,
обратившимися за помощью.
Человеческий мозг –
то ещё крошево,
так что пинцетом – по зёрнышку,
пинцетом – по зёрнышку
в поисках цельной горошины.
Заварим чаёк,
и – нога на ногу:
давненько такое у вас?
Так-с, так-с.
Осень, понимаете,
осень.
Счёт
её дням ведёт
вышедший из-под наркоза
учётчик строительной базы,
где заморозили все новостройки
из-за отсутствия средств
напрочь и разом.

Петух – на жёрдочке,
сверчок – на шестке,
Баба-Яга – на метле:
некуда самолёту упасть –
эфир переполнен,
земля загромождена.
Ставки – очные и заочные –
под видом коучинга
ставят в тупик
следственный эксперимент,
остаются лишь дневники гейши,
чтоб хоть немного понять,
кто убийца, а кто убит,
и какого, собственно, лешего…

Иван Ардалионович
смотрит в окно,
а за ним –
тень фасада
насупившейся больницы,
которой сделали
превентивный укол
от возможного ослабления
памяти на числа
и лица.

Камень, брошенный в огород,
перелетел ограду
и упал возле клумб
у центрального входа,
успев порасти мхом
и тем самым изобразив модель
помутнённого мозга,
но когда психиатра
мучает разболевшийся зуб,
он слышит,

как, не перекрикивая,
а оттеняя хор
осипших сомнамбул,
свободный от рецептур
Серафим Саровский
молится за избавление,
и на бланке больничном
насыщается кровью пятно
от летом минувшим
раздавленной земляники…

* * *

Гидравлика речи
обеспечена
самой необходимостью
приводить в движение
затвердевшую магму.
Как бы
нагнетаются жидкости,
наполнявшие жерло
бессознательного –
эти тёмные воды –
и вот появляется
стойкое ощущение
некого повода
для осмысленного участия
в повороте
тяжёлых колёс,
утопающих в щебне…

Разматывая
размытости,
в сфере интуитивного
остаёмся за тем же столиком –
в уголке
под маятником-лампой,
под объективом
маленького плафона,
сфокусировавшего
тихой сапой
импульс
вольфрамовой нити
в тусклый желток,
из которого

всё же,
даст бог,
появится
светотеневой
какой-нибудь чибис…

Помешивая ложечкой
то, что предложено,
нет, да посмотришь
в окно,
а там – лихорадка,
золото
и никакой Калифорнии,
и, если бы не стекло,
то запахи канифоли
навязали б дыханию
принцип пайки
при такой
концентрации олова,
но не берёшь это в голову.

Гидравлика речи
срабатывает уже нечётко,
но почти
незамеченный
этот дефект
списан
на пару
тающих мятных конфет…

* * *

У мотыльков
такие лица,
будто они –
цветы,
которым никуда не надо,
а надо только
в пёстрый свет
струиться,
пока *она*
с призывных губ
помаду
не смыла перед зеркалом
и встала,
как лёгкая туманность
над покосом,
у белого окна
по эту
плоскость зала,
где столько
не растопленного воска.

Всё замерло,
всё вмиг остановилось,
хоть трепетало
так правдоподобно,
всё в вытертом плафоне
отразилось,
но блеск металла
более проворный:
он заточил
в нас тихие предметы –
чуть проведёшь –
посыплются рубины

на скатерть
и на коврики,
а это –
уже не живопись,
но яды на рябине.

Она молчит,
и мотыльки цветами,
пророщенными
сквозь асфальт постылый,
с фиалками
меняются местами,
и в том
тех и других
сокрыта сила.

ГЛАВА 5. ПОДСЧЁТЫ

* * *

А берег был Оки.
И берег был таким,
что верилось
в возможность прилуниться
какой-нибудь
летучей рыбой-птицей,
отмерившей пунктиром
долгий путь.
Скрипела сталь
огромных ржавых барж,
и дебаркадер
лёг плашмя на воду,
как брошенная карта,
с этим ходом
козырной мастью
оправдав кураж.

А в русле
отражался длинный ряд
огней и стен,
сошедшихся на стыках,
что тонкой струйкой
пропускали яд
вовнутрь – туда,
где бытность –
как улика
привычных форм.
Гудел уставший мост,
по обе стороны
толкая автотрассу,

покуда пунктуальный
светофор
не приструнил,
сменив тональность глаза.

В том – урбанизм,
познавший пастораль,
как тихую изнанку
отражений
и возражений.
Только что пуста
кварталом ранее
казалась совершенно
ладонь раскрытая
предложенной руки –
да, в мотылька
ты сразу не поверил –
но то, что боком вышло –
вышло вдруг на берег.
И берег был,
и берег был Оки…

* * *

На берег выбросило рыбу –
большую, тусклую, сырую.
Должно быть, шторм.
Должно быть, да.
И, если б были мы на том
холодном берегу
в тот день,
тогда б увидели,
что смерть
всех превращает в глыбы
под солнцем,

обведённым мелом
щербатым набегу,
но, словом,
всё же ощутимым,
хотя уже
необратимым,
как зёрнышко в снегу…

Стальная пряжа чешуи
по нитке распускалась,
тлела,
и чайки рвали
тишину,
понять давая,
что к столу
их пригласила
смерть природы,
и этот
оперённый шум
влетал в распахнутые трюмы,
как отзвук
столь неугасимой
и вечно юной
чайной розы.

Большая рыба –
боли шар,
осадок всполоха,
фрагмент
ниспосланной воды,
к которой мы могли бы
вплотную подойти,
ведя следы
по галечной траве
прибоя,

но были мы не там,
и потому –
свой шар
иной – подспудно –
начиняли болью –
без рыбьего хвоста…

* * *

На тусклой леске спит
подвяленная рыба,
дом покосился
на пологом берегу,
где из песка
лепили дети сфинксов
да пирамиды –
выходило криво

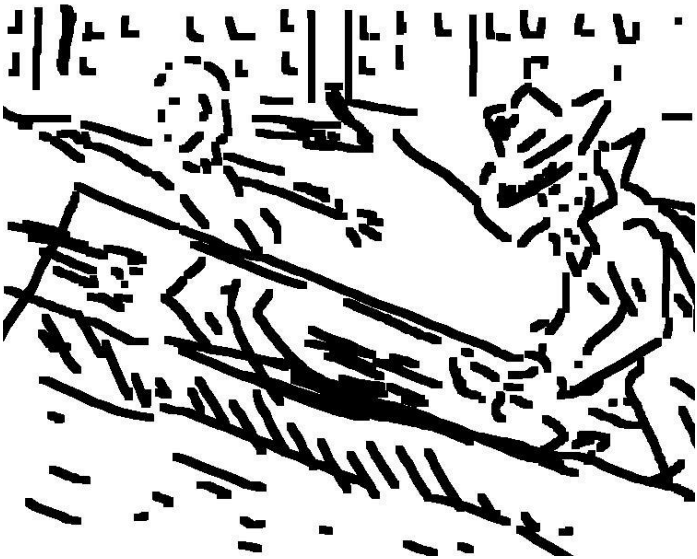
и, может быть,
наивно
в стремлении
оформить небеса
в предметный
ворох,
в мавзолей термитный,
но детство
заходило в воду голым
и становилось
сукровицей жил,
пока не заросло
глухой коростой
из столь неразрешимых,
но земных вопросов…

Рыбак корпел
над захудалым днищем,
смолил,
и смолы
липли к древесине.
Носились чайки белые по небу,
ища себе какой-то волглой пищи,
носились мы по небу,
керосина
авиационного
ища,
который сходу
меняли на лещей
и пряные буханки
житейского,
просоленного хлеба.

Весь это берег
с этой акваторией
искрились в воздухе
чистосердечных выдохов,

и в близлежащем
гибельном лесу
голодные, затравленные звери
типа хордовых
без крови столь насущной
до хрипа с воем сохли
под скрежет и оскал
ножей консервных.

Сын рыбака
из ивового прутика
выстругивал негромкую свистульку
с надеждой на озвученную память,
а лодка грела
закопчённые борта
и медленно звенела
наброшенными
второпях цепями…



* * *

Электрический скат
ил поднимает со дна,
пропускает сквозь него ток,
и космос искрится,
его космос искрится –
сквозь воду
теперь видна
ускользавшая ранее
тень вглубь нырнувшего смысла.

Колышутся волны,
пусть сверху
колышутся волны,
качая рыбацкие лодки,
свежим уловом полные –
космос искрится,
без них или с ними
космос искрится.
Пропущенный ток
с прижигающим
привкусом йода
поднимает со дна
заблудшего аквалангиста.

Колышется город,
сверху и снизу
колышется город –
электрический скат
подвёл к нему провода,
но взметнувшийся ил
отсыревших этих подвалов
и переходов подземных
сколько бы не было ватт –
совершенно иного рода

всполох –
в нём привкуса йода мало,
а соли наоборот –
раны не щиплет, но ест –
получается просто порох.

В лодке ли,
в гамаке ли
качается сновидение,
потусторонний
окрик,
ниткой суровой вдетый,
зашивает мешок крест-накрест,
чтобы за борт,
тело остывшее за борт
с тяжестью лат,
пока ночь пересекает экватор,
за который даже тот скат
закатился давно
канувшей запонкой.

* * *

Что разгружали в порту,
то карамелькой во рту
таяло у флибустьера.
Больно скрипело железо,
тёрлись стальные тросы
и с натяжением нервным
то опускали, то поднимали
в небо – мутней купороса –
наиважнейшие грузы,
думать хотелось, что
наиважнейшие –
ибо

зачем же тогда
стонут на стыках детали
будто в попытках блюза.

Чайки – опять эти чайки –
ветер, а птицам неймётся –
чайка – напутствие тем,
кто – дуть привыкший на воду –
ищет китовый остов
или всплывшие звёзды,
напоминая детей –
в эту дурную погоду
ходит по пирсу,
вдоль пирса,
но не совершает прогулку,
а довершает разлуку
с чем-то
досель не записанным…

Громкие стуки в порту –
скрежет и лязг –
раз железо.
Краны – сутулые краны.
Лоб бригадира в поту.
Бремя работы.
Всё, что разгружено –
влезло
в полости тусклых экранов,
а дальше – на глаз и на вес –
по полкам и стеллажам –
за глухие ворота.

* * *

В почтовом ящике
счета да глянец рекламы,
а хотелось бы писем –
как в старину
или хотя бы,
как в детстве,
не зря же в первом классе
учили чистописанию
и тебя, и меня,
и других тех,
что уже не оставят
улику почерка,
выдающую в нас
человека,
чтобы дождаться ответа
и погладить вдоль шерсти
самоидентификацию,
чтобы вывести себя
за шариковую ручку
из катакомб
изрытого безучастия…

Почтовый ящик –
коммунальный рудимент,
бытовой атавизм,
но откроешь дверцу,
а она: скрип-скрип,
скрип-скрип,
как тогда,
когда любой обертон
был добавочным смыслом
даже при отсутствии
основного.

Так что есть ещё
повод заглядывать,
только вот
маленький ключик утерян,
приходится пальцами
сквозь узкую щель
выуживать
весь этот пёстрый сор,
проявляя нервозность
из-за чужой навязчивости
и удручаясь тому,
что лишь этим
выдаёшь в себе
человека…

* * *

Там, где и мышка
хвостиком не махнула –
белая скорлупа осталась
со следами желтка.
Впрочем,
разбитому верить
или не верить,
это вопрос
не состава
причинно-следственных
связей,
а лишь ощущения
хрупкости,
с которым он становится
риторическим,
вздыхающим: как же так?

Стоял на границе –
но рассыпался,
упирался лбом
в высокий гранит
высеченных святилищ –
но стёк грунтовой водой,
выцарапывал
слово «любовь»
перочинным ножом
на коре многолетнего дуба –
но удалось спасти лишь
древесный,
растительный алфавит.
Скорлупки
легли на ладонь,
но ветер их смёл,
резко дунув…

Там, где и текст
не шёл по наклонной –
теперь всё кубарем, кувырком,
а сейчас – оседает пыль.
Где твоя любимая
чашка?
Собирая осколки,
вспомни: мы были людьми,
смотрели вниз из высоких
окон,
как трава на лужайке
превращается в ил
ещё до начала потопа.
Тяжкий,
но, как оказалось на деле,
увы, бесполезный опыт.

* * *

Жизнь-зимородок –
проклюнулась
и понеслась,
высветила,
отразилась
в зеркале
внешнего мира.
Кто-то просыпал зёрна
под шорох
её крыла.
Интересно,
с точки зрения почвы
или всё-таки птицы
просыпал мимо?

В тонких бокалах,
бокалах тонких,
тонких-тонких –
что-то со льдом
плещется,
что-то мокнет
в ожидании повода,
слова и жеста.
Звонко в сторонке
беседуют женщины,
поправляя платья
и волосы.
Гогочут
игривые дети,
которым шалить
редко позволят дома
строгие взрослые.

Мужчины спорят,
повышают голос,
трясут за бороды
царей и арбитров,
копаются
в механизме вселенной
разводными ключами
посреди натюрморта
из закусок нехитрых,
и море давно уже им по колено.

А бесшумные звери крадутся
в наползающей тьме.
На автостоянках
остывают моторы,
уступая дорогу
чёрным котам и кошкам.
Время настало спать
отправлять детей,
давая им фору
лишь в память
о собственном детстве,
где крутой
могла быть игра,
но ещё никак не судьба.

Жизнь-зимородок
ныряет в проталину –
там
что-то со льдом
плещется,
что-то мокнет
в тонком бокале –
тонком-тонком,
но не ожидая повода,

не объясняя причин,
не перебивая женщин,
не перекрикивая мужчин,
не одёргивая ребёнка.
Искрится и жжётся
потаённое зябкое солнце
пока, наконец, не выльется,
не прольётся.

* * *

В космическом
небесном закутке,
на орбитальной
станции предчувствий
всё виснет в воздухе –
что делать: невесомость.
В иллюминаторе –
торжественный овал,
извечный круг,
парабола потоков,
кружение
немыслимых частиц.
Вот так гребцы
отважного Ясона,
не выпуская из могучих рук
тяжёлых вёсел,
ткали совершенно
округлый миф,
в него вплетая птиц
и рыб, а также
тайный блеск
овечьей золочёной шерсти,
ещё не обретённой
потом-кровью
на дальнем рубеже
иной земли…

Приходят
электронные депеши
и радиосигналы,
сквозь эфир
мерцает холод
телеобращений

с шипящей рябью
вкравшихся помех.
Так трудно разобрать,
пока мигая,
проносишься во тьме
над каждой точкой,
где белка, может,
спрятала орех
в глубокой трещине
надломленной лещины,
и, ненароком, тем
готовя шанс
для нового орешника,
однако
не всякой жизни
предначертан час.

Виток –
и обернулся
Сивкой-буркой,
листом-травой,
козлёнком,
серым волком,
а на экране
всё дрожат и стынут буквы,
курсивом набранные
маленькие буквы,
до точки не допрыгнувшие буквы,
как будто в этом космосе впервой,
в котором будто нет
ни траектории,
ни толка…

* * *

Пакетик чая растворяется,
и грубый кипяток чернеет,
длят нитку пальцы
и тянут, как из грядки череп
или распаренный в ней клубень,
но изнутри пока что зябко,
и обескровленные губы
с повинной не поздравят явку.
Пакетик чая растворился –
хоть что-то изменилось в свете,
и с паром воспарили мысли
о вкусе спорном, но заветном.

Окно – разминка геометра,
двор – закоулок урбанизма,
на этом фоне чай – как ретро –
пусть даже второсортной жизни
и третьесортного замеса.
Глотки подобны тихим всхлипам
над телом памяти остывшим,
в них очевидна ржа железа,
увязшего в волокнах липы,
разделавшись с ольхой и вишней.

Не торопите, не гоните.
Муть утра съёжилась в охапке
пейзажей сентября.
Земля размыта
не половой, хотя
такой же мокрой тряпкой
на швабре ветра-гоминида.

Пакетик чая –
подобно чаю
проходит стадию разлома
с необязательной печалью,
но с прелым вероломством дома.

* * *

Ну, хотя бы ты прочитаешь
эти зарубки на прикладе,
оставленные клювом дятла,
не так, как учат в школе
снайперов,
а просто –
ища древесного,
тем более,
ствол стальной
с положенным шомполом –
уже, вряд ли,
вынесет сор из избы
вместе
с засчитанным трупом,
пусть рука и греет изгиб,
словно запястье невесты.

Ну, хотя бы ты прочитаешь
эти следы на снегу,
оставленные на бегу
под гнётом ветра,
бьющего в спину.
Согласно стереотипам –
всем нам быть при свечах бы
кроссвордами
с уже вписанными ответами,
но cross – это всё-таки крест,

а word – это по-прежнему слово,
чтобы вот так для фото
лепить из воска Эдипа,
ослепшего от пророчеств
и их отпускающего на вес
залитого в глотку олова.

Эти атланты
не с такими уж
впечатляющими плечами,
их титры присыпаны
битыми кирпичами,
но, может, ты прочитаешь,
хотя бы ты прочитаешь…

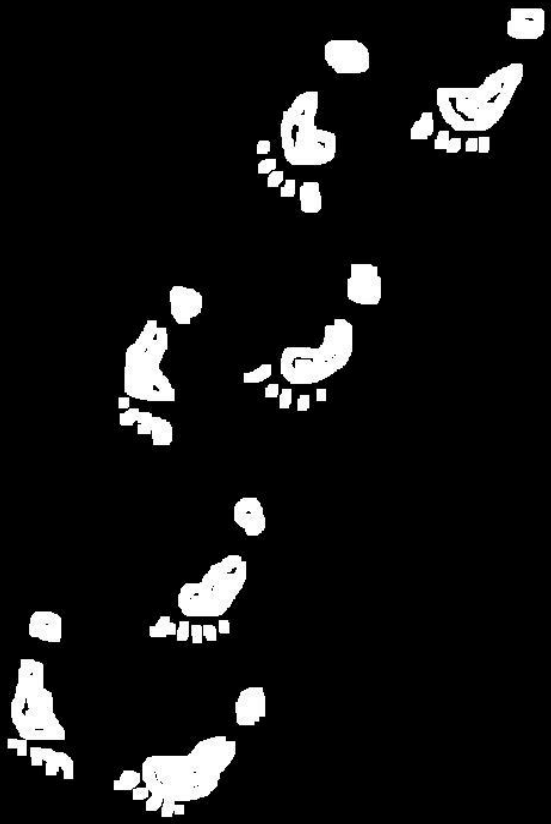
На обороте бланка уже никто не диктовал волю,
не было граф, обязательных для заполнения,
не было специальной строчки для подписи,
которая часто похожа на всплеск кардиограммы,
что случается от неожиданности,
всегда застающей врасплох.
Можно было писать, что вздумается,
что первым придёт на ум,
никто не одёрнет за рукав,
никто не скажет: так нельзя.
Но я не знал, что написать.
Я просто, молча, сидел и смотрел
на обратную сторону бланка –
необязательную для заполнения…

Литературно-художественное издание

Андрей Дмитриев
«НА ОБОРОТЕ БЛАНКА»

Автор рисунков Андрей Дмитриев

Тираж: неограниченный

г. Нижний Новгород

2019